

СМЕРТЬ ВОЖДЯ

Судьбоносный март 1953-го в Барнауле был отмечен ранним теплом, и меня, тогда еще четырехлетнего, выпускали «на улку» во двор, заставленный деревянными сараями-курытниками и голубятнями, в крохотных, но настоящих кирзовых сапожках, облегченном пальтеце дрянненького сукна и шерстяной шапочке с помпоном. Там я отрывался по полной, насидевшись дома морозной порой с кубиками и целлулоидными зверюшками. Первым делом, содрав ненавистную девчачью шапчонку и засунув ее поглубже в карман, пытался ковырять заржавевшим за долгую зиму железным совочком еще не совсем оттаявшую землю. Играл с пацанами в «зоску» и «пристеночек» и безуспешно, но с упоением гонялся за «сыпушками». Благо, пейзажная обстановка вокруг вполне располагала: местность можно было назвать скорее деревенской — городская окраина в десяти минутах от полноводной тогда еще Оби, от которой наш дом отсекала расположенная неподалеку железная дорога — местное ответвление Транссиба.

Двор от внешнего мира с одной стороны отгораживался нашим угловым домом, с другой он был прикрыт плотно стоявшими друг к другу добротными избами, окруженными большими огородами. Для въезда внутрь оставался лишь узкий коридор, по которому с трудом мог протиснуться грузовик. Так мы делили двор с жильцами этих «коттеджей».

Утро обычного дня шестого марта и начиналось обычно: рабочая пятница, рано утром отец ушел на завод, сестра-старшеклассница — в школу, меня мама собрала в детский сад — всё, как всегда. Правда, в группе нас почему-то не встретили, как раньше, нянечки, и стояла непривычная тишина, даже мама пробормотала удивленно, куда, мол, все подевались. Самостоятельно переодевшись и оставив верхнее в узкой голубой кабинке с изображением злобного из-за непомерно торчащих здоровенных передних зубов зайца, я обреченно поплелся на завтрак к ненавистой манной каше с «какавой».

Неожиданно в неурочное время, ближе к обеду, в детсад прибежала сестра, серьезная и молчаливая и, ничего не объясняя, наспех засупонив меня в немудреную одежку, чуть ли не бегом потащила домой. Оставив меня во дворе, она быстро направилась в подъезд. Я решил, что это связано с днем ее рождения, который как раз приходился на тот день, да и дата была знаменательная — сестре исполнилось восемнадцать, и родители впервые решили организовать ей именины с гостями — их ждали вечером.

Увлечись игрой, я не сразу обратил внимание на то, что ребята, побросав деревянные мечи из дранки, которыми они мину-ту назад ожесточенно рубились, побежали к соседнему небольшому дому. В нем, я знал, жила подружка сестры, а ее отец, дядя Костя, частенько баловал ребятню разноцветными леденцами со звонким названием «ландрин».

И вот теперь Константин Иванович был занят непонятным для меня делом: неловко переваливаясь, он взбирался по приставной лестнице на жестяную крышу избы, традиционно окрашенную суриком. Осторожно огибая подтаявшие грязно-серые языки осевшего снега, на коленках добрался по крутому скату кровли к гусаку — загнутой трубе, через которую в дом был заведен электрический кабель. В руке он держал не совсем обычный флаг: непри-

вычный для нас алый стяг, а полотнище темно-малинового цвета, окаймленное неширокой тусклой черной лентой. Таких я раньше не видел. Толстой проволокой Константин Иванович прочно в трех местах примотал древко к гусаку, и тут вдруг совершенно неожиданно, вразнобой и разноголосо завывли заводские гудки. В эту будоражащую душу какофонию нестройно вплелся и басовитый гудок товарняка, остановившегося, чего раньше никогда не случилось, на соседней «железке». Дядя Костя выпрямился во весь рост и почему-то по-военному приложил к фуражке ладонь; по лицу его, искаженному гримасой, катились слезы...

Инстинктивное чувство безотчетной тревоги, смятения вдруг охватило меня, и я, испуганный, рванул домой, не разбирая дороги и спотыкаясь об истертые ступени деревянной лестницы. Залетев с разбегу в нашу комнату, я наткнулся на отрешенный взгляд сестры, увидел заплаканное лицо мамы. И сам, поддавшись атмосфере неведомой беды, громко заревел, заглушая скорбный голос из большой черной тарелки репродуктора, висевшего на простой белой стене и вещавшего о каком-то «дыхании Чейна-Стокса, агонии» и других малопонятных вещах.

Так мы просидели до темноты, пока я, перевозбужденный, сам того не заметив, уснул на коленях у сестры. Разбудил меня голос только что пришедшего с работы отца, и мне на всю жизнь запомнились его дрожащие руки и неверные пальцы, которыми он никак не мог нашарить предательски ускользавшие пуговицы потертой «москвички».

«Дочка, — немного успокоившись, обратился папа к сестре, — сама понимаешь, отпраздновать твоё рождение, как мы собирались, сегодня не получится. Придется перенести». Сестра, похоже, не слышала его, отстраненно глядя в угол, мама, качаясь на стуле из стороны в сторону и тоже не замечая ничего вокруг, бесконечно повторяла: «Что же делать, что с нами теперь будет?»

Погруженная в полутьму комната с неподвижно сидящими людьми, инстинктивно притулившимися друг к другу, их окаменевшие скорбные лица, плотно висящая тишина — все это создавало ирреальную картину театрального действия...

Глубоким вечером траур притихшего дома внезапно взорвался мощным рыком дяди Сани Каркавина, год как «откинувшегося

от хозяина», отмотавшего «чирик» по статье «116 пополам» и получившего вдобавок «пятерик по рогам»¹. Хотя и был он постоянно «на воздухах», то есть в легком подпитии, жизнь вел тихую и непредосудительную, набивая косячки на каблучки башмаков и латая дратвой прохудившиеся валенки местному населению в сапожной будочке неподалеку. «Сдох, наконец, Сарданапал усатый, людоед, вурдалак, — носились по всем трем этажам его громовые проклятья, — не смогла боле земля-матушка носить Ирода, кипеть ему в смоле адовой!» Звероподобного, с жутким перекошенным лицом и расцарапанной в кровь грудью, поросшей седыми космами, в разорванной майке страшного мужика кое-как скрутили сбежавшиеся со всего этажа соседи и бросили «охламонуть» в глухой без окон чулан.

Последующие дни были какими-то обомлевшими: люди собирались у стендов с разворотами центральных газет, разговаривали вполголоса. Бравурная музыка, еще недавно беспрерывно гремевшая с каждого столба, сменилась торжественно-печальными мелодиями, навевавшими тоску; даже воздух стал тягучим и помертвел. В детсаду перестали водить с нами хороводы и распевать веселые песни. Сама жизнь казалась вдруг внезапно тяжело заболевшей и долго еще не могла оправиться от морока постигшего ее потрясения.

Так я впервые в своей жизни стал невольным участником то ли массового психоза — некоего рода амока, то ли проявления реального обожания и преклонения миллионов идола, искреннего и неподдельного горя, то ли свидетелем «начала конца» эпохи, которую неизбежно должен был сменить такой вожденный поворот.

Оправдал ли он, этот поворот, ожидания дяди Сани Каркавина?

¹ Статья «116 пополам» — знаменитая 58, «контрреволюционная», статья сталинского УК, по которой были репрессированы с 1937-го по начало 1950-х годов сотни и сотни тысяч безвинных людей. «Получить по рогам» — вдобавок к отсидке отхватить еще и ограничение заниматься определенными видами деятельности (поражение в правах) и запрет селиться в столицах и крупных городах.

«БУК»

Букинистические магазины моей юности, пришедшейся на 60-е годы, во всех городах, где мне приходилось бывать, отличались одной и той же атмосферой независимо от их столичности или провинциальности: они были смесью храма и элитарного клуба, порой в них ощущалась нотка богемности.

Стенами барнаульского «Букиниста» — завсегда так звали его просто «Бук» — эта атмосфера не ограничивалась: возле него всегда существовало некое броуновское движение. Выходя из узких двустворчатых дверей, двое стариков хасидской внешности вели малопонятный для обывателя спор. Разговор шел о творчестве Франца Кафки, томик которого болтался в авоське одного из них вместе с бутылкой кефира с зеленой крышкой из алюминиевой фольги и надкусанной франзолей — «французской» булкой, которую в связи с «борьбой против низкопоклонства перед западом» переименовали в «городскую». Звучали слова «трансцендентальный», «гештальт» и «ай, не морочьте-таки мене голову».

На низеньком цементном ограждении чахлого палисадника, вытоптанного башмаками искателей книжных раритетов, которых внутри магазина было не купить ни за какие деньги, расположилась стайка хипповатого вида ребят, со знанием дела обсуждавших малоизвестного тогда Сэлинджера: «А знаешь ли, чувачок, что Гертруда Стайн относила Сэла к нехилым парням «потерянного поколения» вместе со стариком Хэмом и Ремарком?» В ответ, вынув изо рта тонкую кубинскую сигариллу, отравлявшую воздух вокруг жуткой вонью, оппонент снисходительно парировал: «А ты знаешь, что в оригинале его роман называется «The Catcher in the Rye» — «Ловец во ржи» по-русски, а вовсе не «Над пропастью...», как у нас опубликовали. Будет у меня сын, назову его Холденом или Колфилдом».

Ну и, конечно же, всюду сновали быстроглазые, но с неотягощенными интеллектом лицами «книжные жучки», предлагавшие «Всю королевскую рать» Уоррена, «Банкира» Уоллера, только входившего тогда в моду и бешено популярного Артура Хэлли. Причем чохом — от первых романов «Аэропорт» и «Отель»

до «Колёс» и «Окончательного диагноза» — по ценам, естественно, в десятки раз выше номинала. Неплохо шел и натуральный обмен, запрещенный в магазине: Теодора Драйзера «чейнджили» на Эдгара По, Монтеня на Вольтера, самиздатовского, скверно распечатанного на папиросной бумаге машинкой «Унис» (довольно специфичный, узнаваемый шрифт) запрещенного Солженицына на не менее «ограниченного распространения» Михаила Булгакова. При этом строго соблюдался ценовой паритет, зависевший от известности (термина «рейтинг» тогда еще не употребляли) и таланта автора.

Завсегдатаем этого пестрого кагала был мой тогдашний приятель — с надменным отстраненным лицом, здорово смахивающий на усталого верблюда — Яша Б., стоявший в надежде «срубить лоха» на высоком крыльце «Букиниста» в любую погоду, как часовой у Мавзолея.

Изредка в людской круговерти поголовно знакомых друг с другом библиофилов появлялись инородные вкрапления из неприметных крепких ребят с невыразительными, но очень цепко просеивающими толпу глазами. То ли комсомольские активисты из местного райкома, то ли обладатели «горячих сердец и холодного ума». Иногда они, как бы радостно узнав кого-то, вежливо и очень убедительно предлагали ему продолжить литературоведческий диспут, по их словам, «чуток в сторонке, где не так галдят», и потом мы этого парня долго не видели.

Живое ненатужное общение среди разношерстной толпы, споры о достоинствах того или иного автора, обсуждения целых пластов мировой литературы — от европейского классицизма Николы Буало до постмодернизма Курта Воннегута и Владимира Набокова — нередко могли глубиной анализа и нетривиальностью мнений затмить лекции некоторых будущих моих педагогов филфака. Они, эти «ликбезы», не раз выручали меня в студенческую пору.

Да, приметное и знаковое было место, жаль — Интернет все испортил ...